

4-
K 18, 1978

Факты и свидетельства

Олег Соловьев

душевнобольной? — нет,
социально опасный

I. Почему?

В ноябре 1968 года, в г. Невинномысске Ставропольского края, без больших раздумий и в одиночку, я написал около 20 листовок, содержание которых было позже названо клеветническим и антисоветским. Я прошел по вечернему городу и опустил их в почтовые ящики на домах. Несколько штук распространил позже в близлежащих городах Карабаевске и Теберде. Нет, я не подбирал фамилий, единственным принципом моего выбора был замок на почтовом ящике. Мне почему-то казалось, что владельцы таких ящиков — люди хозяйственные и самостоятельные — сразу в КГБ не побегут.

Увы, я ошибся.

24 февраля 1969 года меня арестовали.

Карой стало признание меня душевнобольным и заточение на 3 с половиной года в психиатрический застенок.

Думаю сейчас: что же толкнуло на столь решительный, а с точки зрения охранительной психологии — крайне неразумный поступок?

Непосредственной причиной были, видимо, отчаяние и разочарование. Ведь в августе 1968 года — крик Чехословакии. Еще раньше, в 1964-м, только переехав из Сибири в Ростов-на-Дону, услышал о новочеркас-

360

ских расстрелах — о крике наших, советских рабочих под пулями наших, советских солдат.

Заряд инакомыслия и протеста, видимо, был заложен во мне еще раньше и зрел вместе со мной.

Я родился в 1935 г. в городе Мариинске, в Сибири. Отец мой погиб в 1943 году под Смоленском, будучи в партизанском соединении (известная группа Жабо). Мать работала учительницей, однако в 1941 году, после мобилизации отца, по каким-то недоступным моему пониманию причинам (видно, для того, чтобы легче прокормить без мужа двух ребятишек), соблазнилась — поступила работать делопроизводителем в управление сибирских лагерей (СибЛАГ) в Мариинске.

Подчеркиваю это обстоятельство, поскольку оно в дальнейшем, хоть мать и ушла из СибЛАГа в 1946 году, повлияло значительно на мою собственную судьбу. В двух планах. С одной стороны — выработкой во мне стойкого отвращения ко всему, что было связано с лагерями, с системой рабского принуждения, с другой — в распространении на меня со стороны матери того «идейно-воспитательного опыта», которым напиталась она за годы работы в СибЛАГе.

Живя в атмосфере рассказов об ужасах Байма (лагерь, где сидел К. Рокоссовский) или о знаменитых околках — крохотных рощах под Мариинском, в которых находились тысячи могил расстреливаемых и умиравших в лагерях, я, однако, оставался обыкновенным советским школьником. Помню, будучи в 3 классе, я писал крохотные лозунги типа «Да здравствует родной Сталин!» и крепил их кнопками на досках забитого окна... Помню, эти лозунги читал проезжавший мимо водовоз СибЛАГа в обледеневшем от воды и сибирского мороза ватнике и как-то раздумчиво покачивал головой.

В 1953 году, окончив среднюю школу, я поступил на химический факультет Томского университета. Тоже все еще был розовым комсомольцем. Первым уда-

ром по этой розовости стал 1956 год, доклад Хрущевом, потрясшее меня разоблачение мифа о «родном» Сталине.

Может быть, с этого и началось?

В декабре 1956 года я выступил на общегородском диспуте на тему: «Как ты понимаешь свое место в комсомоле?» Попытался объяснить (больше для себя), почему комсомольцы равнодушны к комсомольской работе, и одной из причин назвал то, что коммунисты часто не являются для них примером. Назвал и конкретные имена. Помню, один из выступавших, студент-геолог 1 курса по фамилии Швейник, пошел еще дальше — предложил организовать отдельный студенческий профсоюз.

Через несколько дней я был отчислен из университета. Мотивировка: «за лемагическое выступление на комсомольском диспуте». Еще через две недели меня исключили из комсомола.

Со Швейником расправились еще круче: он получил 5 лет — якобы за обнаруженный у него при обыске кастет.

Оказавшись за бортом университета, я работал на лесозаготовках, затем на ликеро-водочном заводе, отслужил 9 месяцев в армии... Только в 1959 году мне удалось восстановиться в университете. Увы, для этого, уступая на�иму матери, пришлось написать заявление о том, что раскаиваюсь в своем необдуманном выступлении. В комсомоле, однако, я уже не восстанавливался.

После окончания университета в 1961 году я работал в Томске на химическом производстве инженером-химиком. Одновременно поступил в заочную аспирантуру по химии. В 1964 году переехал в Ростов-на-Дону, где работал младшим научным сотрудником при университете. Здесь, в Ростове, впервые услышал о Новочеркасском расстреле 1962 года. Рассказы об этих

кровавых событиях, тогда еще не оставших в памяти людей, потрясли меня.

В 1965 году я поступил на Невинномысский химический комбинат (г. Невинномыск, в 40 км от Ставрополя) — работал сперва лаборантом, затем старшим инженером-исследователем. Наблюдая быт рабочих, их опустошенную жизнь, царящую вокруг произвол и двуличие заводской администрации и партийных чиновников, я все больше и больше разочаровывался в нашей, так расхваленной с трибуны и в газетных полосах «социалистической действительности». С большим возмущением и чувством необыкновенной гадливости узнал, помню, о разоблачении и предании суду председателя невинномысского горсовета Нелепова, торговавшего за взятки городскими квартирами...

А тут и август 1968-го подоспал, Чехословакия...

В сентябре в 1968 году, будучи в Москве, я решил (да простится мне сейчас эта наивность!) проникнуть в одно из посольств, чтобы попросить политического убежища. Почему-то избрал французское. В посольство я, как ни странно, проник (перескочив через забор), однако там, по причине выходного дня, никого не оказалось. Единственной встретившейся мне душой оказался посольский кочегар, советский служащий. О да, он согласился проводить меня к послу и, поводив по зданию, вывел... прямо на дежурившего во дворе милиционского капитана. Романтическая эта попытка закончилась помещением меня в психиатрическую больницу на Каширской, где я пробыл 2 недели. Никто за это время со мной не беседовал, ничем не лечили. Выписали без всяких осложнений, по требованию приехавшей матери. Отпустили, как тогда казалось, на все четыре стороны.

Я вернулся в Невинномыск, стал работать на том же комбинате, только уже не инженером, рабочим-аппаратчиком. Еще лучше познал беды и чаяния советского рабочего класса.

И тогда не осталось другого выхода. Я уже не мог молчать, я должен был высказаться, выговориться, а как еще можно это сделать в недемократической стране? В своих листовках я просил читателей задуматься над окружающей действительностью. Поминал о Нелепове... Выдвинул идею рабочего самоуправления и постоянно действующих общенародных референдумов — как органа законодательной власти в стране...

Ох, дорого стали мне эти референдумы! Сколько раз помянут их потом: они были и основной пункт государственного негодования, и главный «симптом» моей «психической неполноты».

II. Арест. Ставрополь

24 февраля 1969 года меня арестовали. На проведенном декадой раньше обыске у меня изъяли одну, недоопущенную в ящик листовку, да я и не думал запираться.

Меня увезли в Ставропольское краевое управление КГБ. Следователем моим стал сотрудник КГБ Владимир Дербинян. Помню, на первом допросе он сказал: «Не понимаю, стоит ли ради нашего тупого народа жертвовать своей свободой и своим здоровьем?»

Буквально на следующий день мне было предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР («распространение измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»), а еще через сутки меня отвезли на так называемую стационарную экспертизу в Ставропольскую краевую психиатрическую больницу.

Не знаю, послужил ли для этого поводом случай во французском посольстве и факт моего пребывания в московской психиатрической больнице, — мне об этом никогда не напоминали. Зато знаю точно, что на

экспертизе настаивала моя мать. Старая сотрудница ГУЛАГа, хорошо знавшая нечеловеческие условия политических лагерей, мать наивно считала, что психбольница была бы «меньшим злом», она надеялась вырвать меня оттуда с первой-второй полугодовой комиссии. Не знаю, чем мотивировала мать необходимость экспертизы, о чём говорила со следователем, так или иначе, она оказала мне плохую услугу. Не исключаю, что и Дербинян ее провоцировал, склоняя, хотя меня он уверял, что это только ее желание.

И, конечно, толчком к психиатрическому варианту расправы надо мной стало упорство, нежелание отказаться от своих взглядов. Ведь перед тем, как предъявить обвинение, на беседе с прокурором, Дербинян недвусмысленно дал понять, что повинись я, осуди свои листовки, откажись от убеждений — и дело будет закрыто, а я прощен.

Но я не повинился.

В приемном покое ставропольской психбольницы молодой дежурный врач выдвинул против моей идей о референдумах такой довод: «Из-за нашего бездорожья невозможно будет часто и оперативно проводить предлагаемые вами референдумы».

Меня поместили в судебную (наблюдательную) палату, входившую в состав 2-го отделения больницы. Заведовала отделением Лидия Захаровна Терновая, моим лечащим врачом стала некая Мила Петровна (фамилии не помню), похожая на армянку женщину, человек резиновой совести.

В палате стояло 13 коек, в ней было очень тесно и душно, отсутствовала вентиляция, в этой же палате курили. Лежали как подследственные, так и уже имевшие срок, направленные на обследование или лечение из лагерей. Поскольку палата была наблюдательной, в ней всегда сидел санитар.

Всё «обследование» состояло из рентгеновского просвечивания черепа (почему-то делали три раза),

энцефалограммы и двукратной спинно-мозговой пункции, сделанной без моего согласия (мол, первая пункция не дала четкого результата). Еще была беседа с врачом-психологом, помню свое удовольствие, когда по ее заданию я нарисовал, дурачась, ...«теплый ветер».

Еще до комиссии, т. е. до признания «больным», мне стали делать уколы аминазина. Формальным поводом к этому было коллективное возмущение палаты грубым обращением санитара-дежиморды с инвалидом отечественной войны по фамилии Пушкин. Его привезли на психиатрическую экспертизу единственno за то, что он добивался встречи с первым секретарем крайкома партии, с которым они когда-то вместе восвали. Заступничество за Пушкина обернулось для меня аминазином, лечение в дальнейшем так и не отменили.

В апреле 1969 года состоялась завершившая мое «обследование» комиссия. Возглавлял ее главврач больницы Доршт, среди медиков — живым побуждением к действию — сидел и следователь КГБ Дербинян. Правда, он пококетничал, заявив в конце спектакля: «Мы не совсем согласны с вашим решением!». Комиссия, на которой опять дебатировалась моя идея «всенародных референдумов», признала меня невменяемым, поставив диагноз «шизофрения», «параноидная форма».

После комиссии меня перевели из судебной палаты во 2-е отделение. Здесь было свободнее, не давил надзорный санитар, позволялось ходить по коридору, хотя в палате тоже было тесно и душно. Должен сказать, что во всех отделениях ставропольской больницы в отопительный сезон из-за невозможности регулировать отопление было нестерпимо жарко, и больные обливались потом, хотя и сидели в одном белье.

Моим лечащим врачом по-прежнему осталась Мила Петровна. На единственной беседе после комиссии она пыталась объяснить мою «болезнь», но это было

так невразумительно, что я ничего не понял. Меня продолжали пичкать аминазином, правда, давали внутрь, в драже, 3 раза в день.

Спустя два месяца меня перевели в туберкулезное отделение (когда-то был очаг, после зарубцевавшийся). Заведовала отделением некая Валентина Николаевна, лечащим врачом был Владимир Владимирович Кассиров. Он провел со мной всего одну беседу. Спросил на ней: «Ну, как ты мог быть недоволен нашей жизнью, когда кругом такие стройки?»

Отделение было смешанным, мужчины и женщины встречались в коридоре и столовой. В палате, где лежал я, находились тяжелые больные, в том числе с открытой формой туберкулеза. По-прежнему было душно, тесно, ряд состоял из трех коек и «хозяин» средней лез к себе через соседей. Неопрятные больные растирали подошвой чахоточные плевки. Открытую форму отделили от закрытой только осенью.

Туберкулезников держали в отделении взаперти, без прогулок по 2-3 месяца. Летом многих — это была так называемая *трудотерапия* — выводили в сухое поле и заставляли тяпками... засыпать трещины в земле, образовавшиеся от жары. При этом на больных, работавших под палящим солнцем, были больничные халаты из черной байки.

Я тоже занимался «трудотерапией» — работал на вязании хозяйственных сеток — «авосек». При больнице имелся небольшой цех, в котором работало человек 30-40 из разных отделений, в том числе и женщины. Нас отводили туда после завтрака и запирали на ключ, оставив бачок с водой. Сетки вязали из пыльного шнура, и пыль устойчиво висела в лучах бывающего из окна солнца — представляю, каким слоем оседала она на наши легкие, в том числе и туберкулезные.

Работали в мастерской часа четыре, до обеда. Нормы, к счастью, не было, умельцы вязали по семь-восемь сеток в день, я — три-четыре.

В туберкулезном отделении я столкнулся со случаем безобразного извращения, которым отличался один из врачей (пришедший на место уволившегося Кассирова), фамилии его, к сожалению, не помню. Он приглашал в вечернее время в кабинет молодых больных-мужчин и под видом «нового приема диагностики» брал у них сперму. Об этом в конце концов сообщили зав. отделением Валентине Николаевне, однако врач остался в больнице: когда в 1972 году я вернулся в Ставрополь из Орла, он ходил в должности диет-врача больничной кухни.

В ставропольской больнице я пробыл в общей сложности год и 9 месяцев. Всё это время, оказывается, я ждал очереди на место в спецпсихбольницу, так как по решению суда мне была определена именно тюремная больница, об этом рассказала мать. Шли месяцы за месяцем, отправки не было, и мы с матерью втайне надеялись, что так оно и останется.

Увы, наши надежды не оправдались.

III. Черняховская спецбольница

10 ноября 1970 года, в сопровождении «мелбрана» Василия Васильевича и пожилого санитара я был отправлен — обычным поездом, в плацкартном вагоне, в г. Черняховск Калининградской области. Забавное это было путешествие! У санитара в чемодане лежали свернутые жгуты (чтобы меня скручивать!), но вместо них «мелбран» на первой же остановке после Ставрополя купил бутылочку, и мы в радужном настроении поехали к Москве. На Белорусском вокзале, в ожидании отправки, мы той же компанией зашли в шашлычную, где тоже «раздавили» бутылочку. В дороге еще несколько раз покупали вино (на мои деньги), ехали как друзья.

Черняховская спецбольница расположена в мрачном здании бывшей прусской тюрьмы, да и сейчас она является той же тюрьмой — с высокими заборами, колючей проволокой, лязгающими засовами и замками. Как-то в Черняховск приезжала ко мне мать. Она была в таком отчаянии от этой черной «лечебницы», что санитар из ээков после говорил: «У Олега мать больше похожа на больную, чем он сам».

Вначале я попал в 6-е отделение, к врачу Аглеру, который высказал такую мысль, что пусть-де референдумы будут законодательными, а исполнительная власть останется в руках «эгоистических личностей». Я согласился с ним и с самой невинной миной на лице сказал, что в своих листовках не претендовал на исчерпывающую картину будущего устройства.

В отделении было 6 палат-камер, переходить из одной в другую не позволялось. В столовую, смотреть телевизор, даже в туалет ходили только строем, под командой круглосуточно дежурившего в коридоре охранника. На оправку в туалет выводили 3 раза в день.

Я находился в наблюдательной камере: 10 коек на 16-18 квадратных метрах площади. В камере неотлучно сидел санитар.

Мне продолжали давать аминазин. Однажды утром в туалете я потерял сознание, упал, было что-то типа эпилептического припадка. Вызвали сестру, но она увидев, махнула рукой: «А, аминазиновая реакция!» Припадки случались еще несколько раз, также отмечался трепет (дрожание) левой руки. Все эти сильно угнетавшие меня расстройства, конечно, были следствием моего «лечения» аминазином.

Из 6-го отделения, где я пробыл около трех недель, меня перевели в 5-е, туберкулезное. Здесь были те же порядки, из камер не выпускали. Санитарами в больнице работали уголовники с небольшими сроками наказания. Они шли на эту службу с удовольствии-

ем, так как отъедались за счет больных (как из котла, так и из передач-посылок), смотрели телевизор, которого у них в камерах не было. Санитары часто били больных — за курение в камере, за неповиновение, вообще по любому поводу.

На прогулки туберкулезников выводили во дворик, расположенный рядом с котельной, дым от нее густо стлался над двориком под свинцовым прибалтийским небом.

Из окна 5-го отделения я видел в окне 2-го этажа фигуру томившегося там, в одиночной камере, генерала Григоренко, его бритую голову. Он часто кормил голубей, и они знали его окно. По больнице ходили самые неслыханные слухи о Григоренко, говорили, например, что его будто бы не устраивала на воле пенсия в 120 рублей — оттого и сидит.

Ни в 6-м, ни в 5-м отделениях никакой работы для заключенных не было. Из-за жесткого режима один больной (Жданов) повесился в столовой 5-го отделения, другой пытался бежать с крыши 4-этажного здания, приспособив для этого большой шест.

В Черняховске я познакомился и сдружился со Стасом (Станиславом) Тысцевичем, экономистом из Москвы. Он работал на киностудии «Мосфильм». Тысцевича арестовали за какие-то, якобы антисоветские записи в записной книжке, в деле также фигурировали какие-то анонимные письма с угрозами, которые он будто бы рассыпал в адрес должностных лиц. Эти письма Тысцевич отрицал до последнего дня. Его осудили по ст. 70 (антисоветская пропаганда и агитация), однако позже заменили статью на 206-ю (хулиганство), хотя срок оставили тот же, 5 лет. А после он попал в руки психиатров... На просьбу Тысцевича выписать его председатель полугодовых комиссий, известный Д. Р. Лунц, отвечал: «Но у вас же

срок, срок! Мы пока не можем ничего сделать!»*.

Это признание Лунца никак не сочеталось с заявлениями рядовых врачей, что в психбольницах срок наказания не учитывается. И действительно, как показывает практика, срок пребывания в спецпсихбольницах для так называемых особо опасных заключенных (сюда власти всегда причисляют и осужденных по политическим статьям 70 и 190-1) совпадал по времени со сроком лишения свободы, предусмотренным по той или иной статье.

IV. Орловская спецпсихбольница

В январе 1971 г., т. е. спустя всего 2 месяца пребывания в Черняховске, меня вдруг взяли на этап и повезли в Орел, во вновь открываемую спецбольницу при орловском централе. На этот раз везли без прежнего комфорта, в «вагонзаке», с остановкой в Смоленской тюрьме, где мы сутки валялись на койках без матрацев.

Вместе со мной в Орел перевезли С. Тысцевича и еще около 20 заключенных.

Больница размещалась на территории орловской тюрьмы (следственного изолятора) в двух 2-этажных каменных корпусах дореволюционной постройки.

Эпизод для раздумий. При рывке котлована под новое крыло спецбольницы в 1972 году на территории

* Станислав Иванович Тысцевич после освобождения — выписки из Столбовой (куда он был переведен после спецбольницы в 1971 г.) жил в Москве с тяжело больной, беспомощной матерью, сильно нуждался. У него стали опухать суставы ног, и 29 сентября 1975 г. в возрасте 50 лет, он скончался, по сути, от физического истощения. До конца жизни состоял на учете в тубдиспансере.

Болезнь и смерть Тысцевича — прямое следствие истязаний, вынавших на его долю в трех психиатрических больницах (Казанской, Черняховской и Орловской).

Мир праху его.

орловского изолятора обнаружили несколько скелетов. Вместо того, чтобы достойно перехоронить останки, их разбили, и я видел сам, как врачи, например, Лев Григорьевич, мой лечащий врач, заворачивали в газеты черепа и уносили домой, видимо, в качестве «сувенира» на письменный стол.

А я думаю: ведь в 1941 году, при приближении немецких войск, где-то на этом дворе были спешно расстреляны содержавшиеся в орловской тюрьме руководители бывшей партии левых эсеров — Спиридоно娃 и Майоров. Уж не их ли черепа украшают теперь письменные столы орловских врачей?

Зловещая экзотика!..

Я попал сначала в туберкулезное отделение, в котором пролежал 10 месяцев. В октябре 1971 года был переведен в общее. Здесь познакомился (находились в одной камере) с известным «инакомыслящим», замечательным человеком, укрепившим во мне уверенность в избранном пути, — Владимиром Гершуном.

Заведовал отделением врач Козич, моим лечащим врачом был упомянутый выше Лев Григорьевич, любитель черепов.

Помню свой первый разговор с Козичем. Он спросил:

— А как вы оцениваете, что у нас при Хрущеве хлеба не было?

Я:

— А при чем здесь Хрущев? Это же стихийное бедствие, неурожай.

Надо сказать, что во всех без исключения больницах, через которые я прошел, врачи в своих «беседах» со мной часто задавали подобные, явно провокационные вопросы.

А этот Козич был, оказывается, «деловым человеком». Он подбирал из больных таких, чьи родственники могли бы вознаградить его за скорейшую выписку их сына-брата-мужа. И действительно, выписы-

вал за взятку. Совершенно точно знаю, что так освободился один уголовник — армянин из Армавира (фамилии не помню), чьи родители послали Козичу ковры. Правда, это не помешало армянину вскоре, после новой драки, вновь вернуться в Орел.

В 1974 году, уже после моего освобождения, мою мать вдруг вызвал прокурор и грубо пытался получить признание, что и она якобы давала взятку Козичу. Не знаю, что уж там, в Орле, случилось, но, видимо, этот взяточник, наконец, попался.

Режим в Орле по сравнению с Черняховском был мягче. В вечернее время разрешался выход в коридор. Мы даже умудрились отметить 18 марта (день рождения В. Гершуни), устроив в послеобеденный «сон-час» чаепитие с гитарой.

Хотя, конечно, и орловская больница была такой же тюрьмой, как и все остальные спецбольницы, пусть и называют в этих страшных заведениях камеры — палатами, заключение — лечением, а шагающие по коридорам тюремщики неуклюже натягивают на себя белые халаты.

В Орле я больше читал. Сумел даже подписатьсь на журнал «Успехи физики». В то время я интересовался вопросами газового анализа, и эта литература была мне интересна.

В орловской больнице мне пришлось наблюдать, как умирают от рака. Не знаю почему, но этих больных не везли на лечение в гражданские больницы, не оперировали, а ограничивались вливанием физраствора. Они и лежали в общих палатах. Таких случаев было два.

Лично у меня в орловской больнице почему-то стали опухать ноги. Кардиограмма, сделанная не очень опытными руками медицинской сестры, ничего не показала. А может быть, это тоже было последствие аминазиновой терапии?

Я пробыл в орловской спецбольнице 1 год и 3 месяца.

В начале 1972 года комиссия, наконец, сияла с меня принудление. Не обошлось и здесь без провокационных (или они считают это верхом психиатрической логики?) вопросов.

— Как вы расцениваете, что в 1957 году вас заставили служить в армии?

Я (с внутренней улыбкой):

— Меня не заставили, а я исполнял свой долг.

— Считаете ли вы себя больным?

Каверзный вопрос. Еще Салтыков-Щедрин в сатирической повести «Диспенсер провинциала в Санкт-Петербурге», герой которой — личность вполне здравомыслящая — оказывается вдруг в сумасшедшем доме, писал: «успех нашего лечения во многом зависит от того, обладает ли пациент сознанием своей болезни... Вы считаете себя помешанным — это уже признак! Да-с, это очень хороший признак...».

Я (прочувствованно):

— Да, да, ведь иначе я не был бы здесь!

Комиссия дружно хохочет.

Я:

— А чего вы смеетесь? Я болен. К тому же усвоил, что свой бред надо держать при себе.

При этих словах молодой рыжебородый председатель комиссии из института Сербского довольно закивал головой. Комиссия определила перевести меня в гражданскую больницу.

V. Снова Ставрополь. Освобождение

И вот, в конце апреля 1972 г. меня снова везут в Ставрополь. Как уехал, так и возвращаюсь: в плацкартном вагоне, с комфортом. Только вместо «мединиста» — медсестра, Зинаида Дмитриевна. Все равно

купил бутылочку, «обмыл» с нею свой отъезд из Орла. И легко уговорил ее заехать на ночь в Невинномысск, к родным. Когда сходили с поезда, проводница сказала со смехом: «Не пойму, кто же из вас больной?»

В Ставрополе я вновь попал во 2-е отделение, к Лидии Захаровне Терновой. Теперь уже было проще. Я был включен в рабочую команду и получил выход на внешние работы: разгрузка грузов, легкие строительные работы (подручными каменщиками и штукатурами на ремонте больницы), а также прополка больничных полей, засаженных овощами.

В отделении были больные со свободным выходом: гуляли, подносили еду из кухни. С одним из таких больных я отправил однажды, в обход врачей, письмо в Москву, своим новым знакомым из «инакомышляющих». Помню, в письме содержалось предложение как-то отметить 10-летие новочеркасского расстрела.

Где-то, видимо, произошла осечка, и письмо попало не в те руки, что следовало.

Буквально тут же, 5 мая, ко мне явился мой давний знакомый, следователь КГБ Дербинян. В присутствии Терновой он пытался заполучить от меня пионерское заверение: «Я, мол, с политикой завязал». Он действительно так и просил, чуть ли не интим изображая: «Ну, вы хоть по-воровски скажите это!» Еще назвал себя моим пожизненным куратором.

Конечно, Дербинян ни слова не сказал о перехваченном письме, но я-то понял, что явился он именно поэтому. Только матери, позже, когда она с возмущением (чего еще они хотят от больного?) пошла в КГБ, он рассказал о злополучном письме.

Между прочим, беседуя со мной, сказал:

— Я в 1969 году не считал вас больным, на этом настояла ваша мать.

Что он преследовал этой игрой? Вбить клин между мною и матерью — в расчете, что скора между нами затянет мою выписку?

И еще сказал (в ответ на мой вопрос, почему же меня, здорового человека, направили в психбольницу), это были знаменательные слова:

— Пусть вы не душевнобольной. Но вы социально опасны.

После визита Дербиняна меня перевели в наблюдательную палату и отменили выход на внешние работы.

В мае 1972 года, в одно солнечное утро, в мою палату вдруг зашла, под водительством старшей сестры Евгении Ивановны, группа каких-то людей в белых халатах. Не знаю, то ли это комиссия какая была, то ли практиканты, только Евгения Ивановна, словно спохватившись, тотчас вывела их из палаты, буркнув:

— Ну, а этот у нас всегда пишет!

Предполагаю, побоялись, что эти люди могли бы побеседовать со мной, да и узнать обо мне что-нибудь нежелательное...

Шли последние месяцы моего пребывания в психиатрических застенках. Никакие «кураторы» уже не могли воспрепятствовать выписке, ведь как-никак, а срок, предусмотренный по моей статье (3 года), уже истек.

И вот июльское утро 1972 года, моя последняя комиссия в Ставрополе, проходившая под председательством главврача Малиновского, ныне покойного.

Малиновский:

— Ну, Соловьев, если второй раз попадете к нам, будем лечить всю жизнь.

Я, улыбаясь:

— Ну уж не всю жизнь, а лет 25.

Эту цифру я знал по Черняховску — Орлу. Вместе со мной и Стасом «загорал» некто Боданин, из Архангельска, сидевший за убийство. Двадцать пять

лет он находился в больницах, уже и родные отказались от него. Стас помнит, что еще в 1969 году Боданин был активен, подвижен, помогал мыть полы. А потом слег и уже не вставал больше. Я лично наблюдал его безжизненные руки и слышал его тихую, разумную речь. Глаза на бледном лице были чистые, ясные, с интересом обращенные ко мне.

В августе 1971 года его все-таки увезли на «обшаг» в Архангельск.

Но до сих пор снятся, глядят на меня эти глаза — символ долготерпения и страдания, жуткий символ советской спец психбольницы.

СОЛОВЬЕВ Олег Георгиевич — родился 16 мая 1935 г. В 1953 г. поступил на химический факультет Томского университета, однако в 1956 г. был исключен с 3-го курса за выступление на комсомольском диспуте, в котором подверг сомнению необходимость руководства комсомолом со стороны партии. В 1959 г. ему удалось восстановиться в университете и закончить его в 1961 г. Учился заочно в аспирантуре Ростовского университета по химии, работал младшим научным сотрудником этого университета, инженером-химиком на Невинномысском химическом комбинате. В 1969 г. был арестован за распространение в городах Карабасевске, Невинномысске и Теберде антиправительственных листовок. О. Г. Соловьев был признан «невменяемым в содеянном» и провел свыше трех лет в психиатрических больницах специального и общего типа. После освобождения в 1972 г. работал слесарем на Владимирской птицефабрике, рабочим керамического завода.